

Евгений Никитин

ЧУКОВСКИЕ

Корней, Николай, Лидия

КАКИЕ ОНИ РАЗНЫЕ...



И. Никитин

ДЕКОМ

Евгений Николаевич Никитин
Какие они разные... Корней,
Николай, Лидия Чуковские
Серия «Имена (Деком)»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=34340537

*Какие они разные... Корней, Николай и Лидия Чуковские. / Никитин Е.:
Деком; Нижний Новгород; 2014
ISBN 978-5-89533-311-2*

Аннотация

Книга Евгения Никитина, кандидата филологических наук, сотрудника Института мировой литературы, посвящена известной писательской семье Чуковских. **Корней Иванович Чуковский** (настоящее имя – Николай Корнейчук) – смело может называться самым любимым детским писателем в России. Сколько поколений помнит «Доктора Айболита», «Крокодилище», «Бибигона»! Но какова была судьба автора, почему он пришел к детской литературе? Узнавший в детстве и юности всю горечь унижений, которая в сословном обществе царской России ждала «байстрюка», «кухаркиного сына», он, благодаря литературному таланту, остроумному и злому слогу, стал одним из ведущих столичных критиков. Но революция круто изменила жизнь и творчество Чуковского. Из критики

он вынужден был уйти в литературоведение, а творческое самовыражение искал в стихах для детей. Но и это было небезопасно во времена, когда, казалось бы, безобидная сказка могла стать поводом для жестокой травли – а это случилось с Корнеем Чуковским не раз. Сын, **Николай Чуковский**, пришел в литературу на сломе эпох. Он начинал как поэт, ученик Гумилева, но реализовался как автор прекрасных прозаических книг, как для детей, так и для взрослых. Фронтовой корреспондент, прошедший Великую Отечественную войну, он создал замечательный роман о летчиках, защищавших Ленинград – «Балтийское небо», ставший основой одноименного фильма. **Лидия Чуковская**, благодаря своему жесткому, непримиримому характеру, всегда находилась в оппозиции к окружающим и к власти. Еще в юности она побывала в ссылке, позже пережила самую большую трагедию в жизни – гибель мужа в годы репрессий. Но не сломалась, и продолжала заниматься литературным трудом. Однако в России ее книги стали издаваться лишь в постперестроечное время. Наиболее известна Лидия Чуковская своими «Записками об Анне Ахматовой». В работе над книгой автору, по его признанию, помогли беседы с внуками К. И. Чуковского, предоставившими редкие материалы из архива семьи. Также в книге использованы материалы Российского государственного архива литературы и искусства в Москве.

Содержание

От автора	7
Часть 1	12
Глава 1	12
«Секрет»	12
Наследники двуликого Януса	25
Домашний учитель	40
Глава 2	49
Альталена	49
Рождение критика	59
Конец ознакомительного фрагмента.	71

Евгений Никитин

Какие они разные...

Корней, Николай и Лидия Чуковские

Издано при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России» (2012–2018 гг.)



Серия «Имена»

Основана в 1997 году

A stylized, handwritten signature logo in black ink. The logo consists of a large, flowing loop on the left that transitions into a series of sharp, angular strokes on the right, resembling the letters 'ИИ' or 'ИИИ'.

Автор проекта и главный редактор серии Я. И. Гройсман
Художественное оформление серии – В. В. Петрухин

От автора

Я и сегодня очень хорошо помню, как мама в детстве читала мне:

Муха, Муха-Цокотуха,
Позолоченное брюхо!

Муха по полю пошла,
Муха денежку нашла.

Или:

Ехали медведи
На велосипеде.

А за ними кот
Задом наперёд.

Закрыв книжку, мама говорила: «Эти прекрасные стихи написал Корней Иванович Чуковский. Спи. Завтра еще прочитаю».

Действительно, удивительные стихи. Они на всю жизнь запали в мою душу, а с ними и любовь к их автору. Став взрослым, я уже сам читал своему сыну:

Одеяло
Убежало,
Улетела простыня,
И подушка,
Как лягушка,
Ускакала от меня.

Когда я стал постарше, примерно в классе шестом (я любил тогда захаживать в районную библиотеку), мне в руки попала книга, на обложке которой был изображен парусник, вдали виднелся холмистый берег, внизу крупными буквами было напечатано: **ВОДИТЕЛИ ФРЕГАТОВ**. В левом верхнем углу обложки, шрифтом поменьше, было обозначено имя автора: **НИКОЛАЙ ЧУКОВСКИЙ**. Эту книгу о прославленных мореплавателях я прочитал залпом. А позже узнал, что человек, создавший «Водителей фрегатов», – родной сын автора «Мухи-Цокотухи» и «Мойдодыра», что Николаем Чуковским также написаны пронзительные рассказы о Великой Отечественной войне – «Девочка Жизнь», «Цвела земляника», роман о летчиках, защищавших Ленинград, – «Балтийское небо».

В 1964–1968 годах, учась в старших классах школы, я посещал литературный кружок во Дворце пионеров и школьников имени Н. К. Крупской, которым руководил писатель Владимир Ильич Порудоминский. Мы, кружковцы, обращали внимание друг друга на интересные литературные новинки. Однажды кто-то из товарищей указал мне на вышедшую

в 1967 году книгу поэтических переводов Николая Чуковского «Время на крыльях летит...». Так я узнал о том, что Николай Корнеевич не только замечательный прозаик, но и блестящий поэт-переводчик. Позже, прочитав его книгу «Сквозь дикий рай» (Л., 1928), я понял: его оригинальные стихотворения, практически неизвестные современному читателю, заслуживают всеобщего внимания. И я рассказал на страницах журнала «Литературная учеба» (2009, № 3) о поэзии Николая Чуковского, сопроводив свою статью подборкой стихотворений Николая Корнеевича.

В феврале 1966 года произошло событие, и сегодня памятное многим, – суд над писателями Юлием Даниэлем и Андреем Синявским. Первого приговорили к пяти годам, второго – к семи годам строгого режима. Вина писателей состояла в том, что они под псевдонимами (Николай Аржак – Даниэль, Абрам Терц – Синявский) печатали свои произведения за границей. На состоявшемся вскоре после окончания судебного процесса XXIII съезде КПСС выступил Михаил Шолохов. Он заявил: «Попадись эти молодчики с черной совестью в памятные 20-е годы, когда судили, не опираясь на строго разграниченные статьи Уголовного кодекса, а “руководствуясь революционным правосознанием”, ох, не ту меру наказания получили бы эти оборотни!» Речь Шолохова напечатали все центральные газеты. Ее прочитали миллионы. Ответ писателю узнало гораздо меньшее число людей. Он распространялся в машинописных копиях. Кто-то из

кружковце показал его мне: «Смотри, как здорово ответила Шолохову Лидия Чуковская!» Так я впервые услышал имя дочери Корнея Ивановича и познакомился с ее талантливой публицистикой. В «Открытом письме Михаилу Шолохову, автору “Тихого Дона”» Чуковская писала:

«Дело писателей не преследовать, а вступаться...

Вот чему учит нас великая русская литература в лице лучших своих представителей. Вот какую традицию нарушили Вы, громко сожалея о том, будто приговор суда был недостаточно суров!

Вдумайтесь в значение русской литературы».

Мне тогда невольно вспомнились строки Пушкина:

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.

Милосердие – очень важная русская литературная традиция. О ней не уставала напоминать Лидия Чуковская в своих статьях. За свое свободное, честное слово Лидия Корнеевна в 1974 году была исключена из Союза писателей СССР.

Мне давно хотелось рассказать о семье замечательных литераторов, дать портреты этих, объединенных любовью к литературе, и в то же время таких разных, не похожих друг на друга людей. И я был рад, когда издательство ДЕКОМ предоставило мне такую возможность.

Как сделать литературный портрет правдивым, достоверным? Мне думается, для этого надо преще всего дать слово главным героям книги – то есть широко использовать их письма, дневники, воспоминания. Необходимо также дать высказаться современникам – людям, хорошо знавшим твоего героя. Так я поступил.

Лучше понять героев книги мне помогли беседы с внучкой Корнея Ивановича Еленой Цезаревной Чуковской, с детьми Николая Корнеевича – Наталией Николаевной Костюковой и Дмитрием Николаевичем Чуковским. Они же помогли рядом предоставленных материалов. За оказанную помощь всем им выражаю свою глубокую благодарность, также благодарю за помощь сотрудников Российского государственного архива литературы и искусства в Москве.

Часть 1

Отец

Глава 1

Сын «девицы»

«Секрет»

Как известно, детство определяет всю дальнейшую жизнь человека, формирует его характер. Дочь мастера фотопортрета М. С. Наппельбаума¹ Ольга Грудцова, имевшая возможность близко наблюдать выдающегося актера и режиссера С. М. Михоэлса², вспоминала: «Соломон Михайлович вырос в бедной многодетной семье Вовси и был младшим. Он рассказывал, что за обедом, пока до него доходила тарелка супа, старшие уже ели компот. Он оставался без сладкого.

¹ М. С. Наппельбаум автор замечательных изображений, портретов-характеристик Анны Ахматовой, Сергея Есенина, Осипа Мандельштама, Бориса Пастернака и многих других деятелей отечественной культуры.

² Настоящая фамилия актера – Вовси.



К. И. Чуковский. 1910-е

Мне казалось, что это детское огорчение сохранилось у него на всю жизнь». Конечно, сохранилось и повлияло на формирование характера. Непростой, прямо скажем, трудный характер Алексея Максимовича Пешкова, получившего известность под литературным псевдонимом М. Горький, в значительной мере был предопределен его трагическим детством. В три года мальчик заболел холерой. От него за-

разился и умер отец. Охваченная горем молодая женщина, мать будущего писателя, возненавидела родного сына, считая его виновником смерти любимого мужа. Вскоре и она умерла. Ребенок оказался на иждивении деда, который фактически выгнал одиннадцатилетнего внука из дома. Позднее М. Горький написал в своей знаменитой автобиографической трилогии:

«...Дед сказал мне:

– Ну, Лексей, ты – не медаль, на шею у меня – не место тебе, а иди-ка ты в люди.

И пошел я в люди».

Отсюда, из трудного детства, берут свои истоки статьи, написанные М. Горьким в конце 20-х и в 30-е годы, статьи, которые сегодня тяжело читать.

И у мальчика Коли Корнейчукова, ставшего известным под вымышленным именем Корней Иванович Чуковский, первые годы жизни оказались очень непростыми.

Его дочь Лидия³ в воспоминаниях об отце пишет: «Я знаю в жизни Корнея Ивановича одну только боль, которую он, не пуская наружу, не забывал никогда, ничем не заслонял и не вытеснял, одну обиду, которой он разрешил себе питаться... Это было недоброе чувство к отцу – непрощаемая судьба матери, сестры и собственное детство. <...>

С этой враждою он не умел бороться.

Помню, однажды, в Куоккале, когда мне было, вероятно,

³ Далее Л. К. (ред.).

лет шесть, а Коле девять, наша мама, Мария Борисовна, внезапно позвала нас к себе в спальню, плотно закрыла дверь и, как нам представлялось, ни с того ни с сего сказала:

– Запомните, дети, спрашивать папу о его папе, вашем дедушке, нельзя. Никогда не спрашивайте ничего. Запомнили? Ступайте».

Так же неожиданно, как был наложен запрет на вопросы об отце Корнея Ивановича, через два года Мария Борисовна объявила детям о предстоящем приезде их деда. Лидия Корнеевна пишет:

«...Мама с такой же внезапностью вдруг объявила нам:

– Коля переедет из классной вниз, в столовую, а классную надо приготовить для гостя. Завтра приезжает папин папа, ваш дедушка, и проживет у нас недели две».

Но визит дедушки оказался коротким. Чуковская вспоминала:

«Мы ждали.

И вот наконец у калитки: Колляри⁴, папа, дедушка. Папа несет дедушкин чемодан. Дедушку я не рассматриваю; вижу только, что с бородой. Я впиваюсь в его руки, перегруженные цветами и пакетами. Дедушка всем привез подарки: маме – цветы, Коле – нарядную книгу, мне – куклу, а Бобе⁵ – барабан.

Стол накрыт. Из кухни пахнет пирожками. Но к столу не

⁴ Сосед Чуковских, зарабатывавший извозом.

⁵ Боба – домашнее имя Бориса Корнеевича Чуковского, младшего брата Л. К.

садутся: папа увел дедушку наверх, в кабинет. <...>

И вдруг дверь веранды звонко отворилась. Из нее выбежал Корней Иванович с дедушкиным чемоданом в руках. И побежал к калитке. За ним еле поспевал дедушка (тут я разглядела его: высокий, худощавый, прямой, с квадратной бородкой). Корней Иванович выбежал за калитку и широко растворил ее перед гостем. Подал ему чемодан и ушел. И затворил за собой калитку.

– Почему никто не обедает? – крикнул он нам, подходя к дому.

За обедом про дедушку не было сказано ни единого слова. После обеда тоже».

По верному наблюдению Лидии Корнеевны, Корней Иванович «был создан своею покинутостью». В разговоре с отцом он не смог, не нашел в себе сил перешагнуть через эту покинутость, не сумел простить отцу обиду за себя, за сестру, за мать.

Сильнее всего была обида за мать, которую Коля Корнейчуков очень любил. В автобиографической повести «Серебряный герб» (первоначальные названия: «Секрет», «Гимназия») читаем о том, как ее главный герой выпрашивает прощение у классного священника отца Мелетия за съеденный в пятницу, в постный день, на глазах у законоучителя пирожок с мясом:

«Мне лично его прощение было не нужно, но на Рыбной улице, во флигеле, в доме Макри, жила моя мать, утомлен-

ная женщина, и я знал, что моя ссора с попом будет для нее неприятностью.

Всякий раз, когда в гимназии со мною случалась беда, мама брала полотенце, смачивала его уксусом и обматывала вокруг головы. Это значило, что целые сутки она будет лежать без движения, полумертвая, с почернелыми веками, и у нее будет болеть голова.

Я готов был сделать все на свете, лишь бы голова у нее перестала болеть.

Вот я бегу за попом и со слезами умоляю его:

– Батюшка, простите меня!»

Коле Корнейчукову с раннего детства не давал покоя «секрет» его появления на свет. При встрече с отцом в 1915 году писатель потребовал от него раскрытия и объяснения этого «секрета», однако услышанный ответ не унял боль, не удовлетворил спрашивающего. Поэтому родитель был выставлен за дверь. Обстоятельства появления на свет продолжали мучить Корнея Ивановича. Неслучайно повесть о своем детстве он, при первой публикации в 1938 году в журнале «Пионер», так и назвал – «Секрет». Чуковский в ней писал: «У меня в ту пору было одно секретное горе, о котором я еще ни разу никому не рассказывал». Это «секретное горе», признавался писатель, «было при мне постоянно». Далее автор повести говорил: «Мне было лет семь или восемь, когда я впервые почувал, что эта суровость у нее [мамы. – Е. Н.] неспроста. Тут тоже виноват секрет. Вообще если бы не этот

проклятый секрет, мама не горбилась бы по ночам над лоханкой и не дрожала бы крупной дрожью при одной только мысли, что ей когда-нибудь придется предстать перед лицом Шестиглазого⁶. Из-за этого секрета она хваталась за грудь всякий раз, когда мимо проходил почтальон (почтальон в нашем дворе появлялся не часто: раза три или четыре в году). Из-за этого секрета однажды, когда к нам пришел какой-то “Щупак из Варшавы” и тихо сказал ей какое-то слово, она прожгла утюгом наволочку мадам Чумаченко (потому что как раз в это время стояла у гладильной доски), а когда “Щупак из Варшавы” ушел, села на пол и стала раскачиваться и все хотела выговорить какое-то слово, но губы у нее заоченели, как на сильном морозе, и у нее выходило только одно: “вить, вить, вить, вить...”». Боль за молодую женщину, которая вынуждена одна воспитывать двух детей, пронизывает всю повесть. Женщине и так трудно – не на кого опереться, нет взрослого помощника, а тут еще постоянно приходится терпеть незаслуженные оскорбления. Чего стоит хотя бы сцена с господином Карабубиным, от которого зависело получение дешевой квартиры, да к тому же с водопроводом, так необходимым прачке. Все шло хорошо до тех пор, пока господин Карабубин не увидел мамин паспорт. Чуковский пишет:

«Мама подает ему паспорт, иссиня белую большую бумагу.

⁶ Кличка директора гимназии.

Он надевает пенсне, и вдруг его челюсти звонко захлопываются. Он говорит неожиданно пронзительным голосом:

– Тю-тю-тю! Что же вы суетесь к нам с такими... пейзажами? Слава богу, не маленькая. Сами должны понимать: *этаким* в нашем доме не место.

– Но ведь вы обещали.

– Мало ли что. Разве я знал, что вы этакая?



Мать К. И. Чуковского Е. О. Корнейчукова с внуками Ли-

И брезгливыми пальцами, словно опасаясь запачкаться, возвращает маме ее паспорт. <...>

Мама моя была величавая женщина. Она ни слова не сказала Карабубину, взяла у него паспорт и вышла из комнаты.

Но она шла как слепая, она стонала как раненая, когда я вел ее вдоль длинной казармы домой».

Мама страдает из-за меня, я – причина боли самого близкого мне человека. Это ощущение мучило Чуковского. Но мать считала виноватой только себя. Корней Иванович пишет:

«Прости меня... Прости меня... Прости меня...

– Мама, что ты говоришь? – кричу я.

– Это я, а не ты, это я... это я виновата во всем...

Она и в самом деле считала себя чуть не преступницей. И все соседи, за исключением двух – трех, смотрели на нее как на виноватую, не заслуживающую ни малейшей пощады... Хотя в нашем дворе было много жильцов с очень плохой репутацией, но к ним соседи относились не с такой суровостью... Считалось, что она даже хуже Субботского, которого то и дело сажали в острог за мошенничество».

Ближе к концу повествования Корней Иванович раскрывает свой и мамин «секрет». Его сестра Маруся с отличием окончила Епархиальную школу. И вот какой документ она получила на руки:

«В первой же строке аттестата было крупными буквами указано то преступление мамы, которое опозорило и ее, и меня, и Марусю.

Эта первая строка была так унижительна, что похвалы и пятерки, содержащиеся в его дальнейших строках, утрачивали всякую ценность: их все равно нельзя было показать ни одному человеку. <...>

В аттестате у Маруси было сказано:

“Сим удостоверяется, что дочь крестьянки, девицы такой-то, оказала отличные успехи”».

Но Чуковский не согласен с оценкой, данной поступку его матери российским дореволюционным обществом. Он пишет:

«Преступления, в сущности, не было. <...>

Был благородный и смелый поступок, который только дураки да мошенники могли называть преступлением.

Вся беда была в том, что в ту пору существовал такой дикий закон: если мужчина и женщина полюбят друг друга, они непременно должны отправиться в церковь к попу. Поп за особую плату прочтет над ними длинную молитву, обведет их три раза вокруг высокого столика, и только тогда – но не раньше – они имеют право называться женою и мужем.

А если случится, что они любят друг друга без благословения церкви и не обращаются за молитвами ни к какому попу? Если без всяких церковных обрядов у них, скажем, родится ребенок? Или двое детей? Или трое? Грех им и ве-

ликий позор! Царский закон объявлял их самыми ужасными преступниками. Впрочем, не их обоих, а только женщину – мать. Женщина считалась с этой минуты преступницей, и царское правительство объявляло ее детей незаконными, и соседи давали этим детям обидные клички, называли их “байстрюками”, “байстрятами”, считая, что эти *незаконные* дети гораздо хуже законных детей, что они какие-то скверные, так как господь бог в небесах не дал им разрешения родиться. Чтобы еще сильнее оскорбить и унижить ту женщину, у которой есть “незаконный” ребенок, правительство продолжало называть ее по-прежнему девушкой – и это считалось в ту пору позором. <...>

В паспорте у моей мамы была именно такая свирепая строчка: “Девушка с двумя детьми”.

И эта одна строчка на всю жизнь придавила ее.

Из-за этой строчки Бурмейстр выгнал меня из гимназии. Из-за этой строчки Карабубин не допустил мою маму в здание “Павловских дешевых квартир”. Из-за этой строчки соседи шептались друг другу о маме какие-то ехидные гнусности, всякий раз, когда мама проходила мимо них по двору».

Заканчивается «Секрет» рассказом автора о встрече мамы с его отцом:

«Как же случилось с нами такое несчастье? Почему мы родились “незаконными”?»

Произошло это так.

Моей маме не было девятнадцати лет, когда в нее, полтав-

скую крестьянку, неграмотную, влюбился заезжий студент, обещал жениться и увез в Петербург, но через несколько лет разлюбил ее, бросил, уехал в Варшаву и там женился на какой-то избалованной барышне. А мама осталась с нами, с детьми, опозоренная, без мужа, без денег, без какой бы то ни было помощи. Впрочем, деньги мой отец присылал иногда. Но какие-то гроши, да и то очень редко. А потом и совсем перестал посылать. Так что маме поневоле пришлось приняться за стирку чужого белья. <...> В метриках у “законных” детей говорилось: “Сын отца такого-то и матери такой-то”. Но в моей метрике было написано:

“Незаконнорожденный сын девицы такой-то”.

Отец даже не упоминался. Слово я родился без отца!»

Так кто же был отцом писателя? Сам Чуковский ни в повести, ни в автобиографии имени его не называет. Более того, как бы запутывая следы, писатель в различных документах величает себя по-разному: то Васильевичем (это отчество попало в энциклопедии), то Мануиловичем, то Эммануиловичем, то Емельяновичем.

Установить имя отца Коли Корнейчукова удалось украинской исследовательнице Наталье Панасенко. Его звали Эммануил Соломонович Левенсон. Он родился в 1851 году в богатой еврейской семье. Мать же будущего писателя, Екатерина Осиповна Корнейчукова, родилась в 1856 году в простой крестьянской семье. Познакомились они в 1878 году (когда Екатерине Осиповне уже исполнилось 22 года, а не

18 лет, как написал Чуковский в «Секрете»), на следующий год у них родилась дочь Мария (Маруся), а еще через три года – сын Николай, который в повести «Секрет» почему-то назвал свою мать «полтавской крестьянкой». В действительности, как значится в документах переписи 1897 года, она была родом из Херсонской губернии, из деревни Гамбурово Ананьевского уезда.

Отец Чуковского прожил в столице с его матерью около семи лет и за это время обучил ее грамоте (в материалах переписи 1897 года она значится как умеющая читать).

Окончив учебу, Э. С. Левенсон в 1885 году вернулся в Одессу, где жили его родители, и взял с собой семью – Екатерину Осиповну с дочерью и сыном (дети, отметим, учились на деньги отца, крестьянка-прачка не могла заработать на их обучение). Эммануил Соломонович продолжал встречаться с матерью своих детей. Отсюда пересуды соседей, о которых пишет в «Секрете» Чуковский.

Венчание Екатерины Осиповны с Эммануилом Соломоновичем было невозможно. Во-первых, студент имел право жениться только с разрешения родителей, а они, обеспеченные и образованные евреи, согласиться на брак сына с малограмотной крестьянкой, конечно, не могли. Во-вторых, для венчания ему необходимо было принять православие, что вызвало бы негативную реакцию не только родителей, но и всего ближайшего окружения. Екатерина Осиповна не могла не понимать, в каком обществе она живет, и была благодарна

за любовь, дарованную ей этим, конечно, не идеальным, но далеко не самым плохим мужчиной. Сын же смотрел на мир другими глазами. Лидия Корнеевна пишет:

«Когда мне исполнилось 17 лет, родители отпустили меня к бабушке в Одессу. Впервые ехала я одна поездом дальнего следования. Вот и бабушкина квартира: крошечная, сверкающая чистотой. Вся в цветах – на подоконниках, на полу, – а стены в фотографиях Корнея Ивановича... Над чашей фискусов большая увеличенная фотография в тяжелой раме. Я узнаю – тот самый худощавый, стройный человек, с аккуратно подстриженной бородкой. Тот, о котором нельзя спрашивать.

– Твой папа его не любит, – говорит бабушка, подметив мой взгляд. – За меня. Но твой папа не прав: он очень, очень хороший человек. <...>

Надеюсь, права была Екатерина Осиповна. Но для Корнея Ивановича детская его покинутость была единственная личная обида, которую он не мог победить ни трудом, ни весельем».

Наследники двуликого Януса

Постоянно удерживать в себе эту обиду писателю не удалось. Иногда в беседах с теми, кто был ему близок, она прорывалась наружу. Одним из таких людей была уже знакомая нам Ольга Грудцова, вспоминая: «Вот Корней Ива-

нович был красивый, талантлив, богат, знаменит, для женщин неотразим, вместе с тем признавался: “Я никогда не верил, что меня любят”. Правда, детство и юность могли развить ущемленность. Незаконнорожденный “байстрюк”, сын прачки, пережитые унижения, наверно, сделали его неуверенным в себе».

Мысли о детстве, обида за себя, за мать и сестру не давали покоя. 3 февраля 1925 года Чуковский записывает в дневник:

«Сижу 5-й день, разбираю свои бумаги – свою переписку за время от 1898–1917 гг. <...> Особенно мучительно читать те письма, которые относятся к одесскому периоду до моей поездки в Лондон. Я порвал все эти письма – уничтожил бы с радостью и самое время. Страшна была моя неприкаянность ни к чему, безместность, – у меня даже имени не было: одни звали меня в письмах “Николаем Емельяновичем”, другие “Николаем Эммануиловичем”, третьи “Николаем... извините, не знаю, как вас величать”, четвертые (из деликатности!) начинали письмо без обращения. Я, как незаконнорожденный, не имеющий даже национальности (кто я? еврей? русский? украинец?) – был самым нецельным непростым человеком на земле. Главное: я мучительно стыдился в те годы сказать, что я “незаконный”. У нас это называлось ужасным словом “байстрюк” (bastard). Признать себя “байстрюком” – значило опозорить раньше всего свою мать. Мне казалось, что быть байстрюком чудовищно, что я единственный – неза-

конный, что все остальные на свете – законные, что все у меня за спиной перешептываются и что, когда я показываю кому-нибудь (дворнику, швейцару) свои документы, все внутренне начинают плевать на меня. Да так оно и было в самом деле. Помню страшные пытки того времени:

– Какое же ваше звание?

– Я крестьянин.

– Ваши документы?

А в документах страшные слова: сын крестьянки, девицы такой-то. Я этих документов до того боялся, что сам никогда их не читал. Страшно было глазами увидеть эти слова. Помню, каким позорным клеймом, издевательством показался мне аттестат Маруси-сестры, лучшей ученицы нашей Епархиальной школы, в этом аттестате написано: дочь крестьянки Мария (без отчества) Корнейчукова – оказала отличные успехи. Я и сейчас помню, что это отсутствие отчества сделало ту строчку, где вписывается имя и звание ученицы, короче, чем ей полагалось, чем было у других, – и это пронзило меня стыдом. “Мы не как все люди, мы хуже, мы самые низкие” – и когда дети говорили о своих отцах, дедах, бабках, я только краснел, мялся, лгал, путал. У меня ведь никогда не было такой роскоши, как отец или хотя бы дед. Эта тогдашняя ложь, эта путаница – и есть источник всех моих фальшей и лжей дальнейшего периода. Теперь, когда мне попадает любое мое письмо к кому бы то ни было – я вижу: это письмо незаконнорожденного, “байструка”. Все мои

письма (за исключением некоторых писем к жене), все письма ко всем – фальшивы, фальцетны, неискренни – именно от этого. Раздребезжилась моя “честность с собою” еще в молодости. Особенно мучительно было мне в 16–17 лет, когда молодых людей начинают вместо простого имени называть именем-отчеством. Помню, как клоунски я просил всех даже при первом знакомстве – уже усатый – “зовите меня просто Колей”, “а я Коля” и т. д. Это казалось шутовством, но это была боль. И отсюда завелась привычка мешать боль, шутовство и ложь – никогда не показывать людям себя – отсюда, отсюда пошло все остальное».

Привычку мешать боль, шутовство и ложь Корней Иванович старался искоренить в себе, но так и не смог от нее полностью избавиться. Детство, полное обид, привело к двойственности его натуры. С одной стороны, стремление, зачастую неосознанное, унижить окружающих (в отместку за испытанные в ранние годы унижения). С другой стороны, память о трудном, полном лишений детстве побуждала помогать испытывающим нужду людям.

Грудцова в своих воспоминаниях, написанных в форме письма к Чуковскому, говорит:

«Да, да, да, Вы были двойственный человек, Корней Иванович! <...> Вы чувствовали потребность кого-то ненавидеть и кого-либо унижать. Вы по очереди ненавидели всех членов своей семьи, щадили только маленькую, больную Му-

рочку. Евгению Львовичу⁷ Вы давали заведомо невыполнимые задания и радовались, когда ему не удавалось их осуществить. Я тоже не раз была свидетельницей того, как уничтожительно Вы говорили о том или ином человеке.

Вместе с тем, Вы с не меньшим удовольствием помогали людям. Искали кому-то дачу, хлопотали о прописке, о квартире, доставали лекарства в Кремлевской аптеке, читали чужие статьи... Вы искренне волновались, примут ли меня в Союз писателей, звонили профессору Гудзию, предлагали мне взять у Вас рекомендацию. Но я сочла это неудобным и попросила у Николая Корнеевича.

Вы часто каялись: “Я ночи не сплю от того, что вспоминаю свои подлости”. А жена Гудзия сказала мне: “Никто не знает, сколько добра делал людям Корней Иванович”.

В день Вашего восьмидесятилетия я покупала газету в киоске. Рядом стояла посторонняя женщина, заметив статью о Вас, она проговорила: “А! Это о Чуковском. Фальшивый человек!” А телеграфистка, принимавшая у меня телеграмму с поздравлением, сказала: “Чуковскому! Какой прекрасный человек!”

– Вы его знаете? – спросила я.

– Нет, но он так любит детей!

И то и другое было правдой».

Положительные и отрицательные качества есть у каждого человека. Беда заключалась в том, что смесь боли, шу-

⁷ Е. Л. Шварц, секретарь К. И. Чуковского в 1922–1923 годах.

товства и лжи неожиданно подхватывала Корнея Ивановича и несла в непредсказуемом направлении, и он ничего с собою не мог поделать. После таких приступов признавался: «я – паяц», «я – преступник». Это состояние Чуковского описал Е. Л. Шварц: «Он был окружен как бы вихрями, делающими жизнь возле него почти невозможной. Находиться в его пределах в естественном положении было невыносимо, как в урагане посреди пустыни. И к довершению беды вихри, сопутствующие ему, были ядовиты». Эти «вихри» делали мучительной жизнь и самого Корнея Ивановича. Е. Л. Шварц пишет: «Он вечно и почему-то каждый раз нечаянно, совсем, совсем против своей воли, смертельно обижал кого-нибудь из товарищей по работе. Андреев жаловался на него в письмах, Арцыбашев вызывал на дуэль, Аверченко обругал за предательский характер в “Сатириконе”, перечислив все обиды, нанесенные Чуковским ему и журналу, каждый раз будто бы по роковому недоразумению. И всегда Корней Иванович, поболев, оправлялся. Однако проходили эти бои, видимо, не без потерь. И мне казалось, что уходя в себя, Корней Иванович разглядывает озабоченно ушибленные в драке части души своей».

Душа болела, и все же он не мог удержаться, чтобы не сказать, например, С. Я. Маршаку после приглашения того на высокий прием во время работы Первого всесоюзного съезда советских писателей: «Да, да, да! Я слышал, Самуил Яковлевич, что вы были на вчерашнем приеме, и так радовался

за вас, вы так этого добивались!»

При построении фразы Чуковский, не задумываясь, может быть даже произвольно, применял отработанный им трафарет. «У Корнея Ивановича, как у великих фехтовальщиков, была выработана своя система удара. Фраза начиналась с похвалы и кончалась выпадом» (Е. Л. Шварц).

Самый известный пример воздействия «вихрей» – письмо Чуковского к А. И. Толстому, которое адресат опубликовал в литературном приложении к берлинской газете «Накануне» 4 июня 1922 года. В письме говорилось: *«В 1919 году я основал “Дом Искусств”; устроил там студию (вместе с Николаем Гумилёвым), устроил публичные лекции, привлек Горького, Блока, Сологуба, Ахматову, А. Бенца, Добужинского, устроил общежитие на 56 человек, библиотеку ит.д. И вижу теперь, что создал клоаку. Все сплетничают, ненавидят друг друга, интригуют, бездельничают – эмигранты, эмигранты! Дармоедствовать какому-нибудь Волынскому или Чудовскому очень легко: они получают пайки, заседают, ничего не пишут и поругивают Советскую власть. <...> Вот сейчас вышел сборник молодежи “Звучащая Раковина”. Ни одного стихотворения о России, ни одного русского слова, всё эстетические ужимки и позы. <...> Замятин очень милый человек, очень, очень, – но ведь это чистоплюй, осторожный, ничего не почувствовавший».*

Не будем говорить о том, что Е. И. Замятин не заслуживает данной ему оценки, да и А. Л. Волынский и В. А. Чу-

довский тоже, скажем несколько слов о сборнике «Звучащая Раковина» (Пб., 1922). Его авторы, члены одноименного литературного кружка, посвятили книгу «Памяти нашего друга и учителя Н. С. Гумилёва», годом ранее безвинно расстрелянного чекистами. В предисловии авторы написали:

«Понемногу у тех случайных слушателей, которые пришли в Дом искусств осенью 1920 года заниматься у Н. С. Гумилёва, появилась потребность более близкого и замкнутого общения друг с другом – таким образом зародилась Звучащая Раковина.

Естественно, что у кружка нет никакой поэтической платформы, нет общего credo.

То, что объединяет нас, гораздо интимнее, – это большая и строгая любовь к поэзии и самый живой интерес к проявлению ее у каждого.

Звучащая Раковина очень легко и радостно объединяет и символистов, и акмеистов, и романтиков.

Вот этой-то широкой *беспартийностью* своих взглядов Звучащая Раковина может быть более всего обязана своему почетному синдик у Гумилёву».

Среди авторов «Звучащей Раковины» был и сын Чуковского – Николай. Однако даже это обстоятельство не удержало Корнея Ивановича от несправедливых критических слов в адрес сборника.

Если человек в зрелом возрасте не мог обуздать свои «вихри», то можно представить, что делали они с ним в юно-

сти, в гимназические годы. В воспоминаниях о своем однокласснике, также ставшем известным писателем, – Борисе Житкове, Чуковский признался: «Я принадлежал к той ватаге мальчишек, которая бурлила на задних скамейках и называлась “Камчаткой”».

Именно поведение Коли Корнейчукова, безобразное с точки зрения большинства преподавателей, стало причиной его исключения из гимназии. Однако писатель Чуковский не хотел признаться в этом (возможно, даже самому себе), потому что из этого следовало: он – причина огромной боли, которую испытала его мать. Чуковский старался представить это событие в ином свете. Примечательно, что он предлагал читателям различные версии случившегося (что заставляет сомневаться в их правдивости).

В повести «Секрет» сначала главный герой думал, что его выгнали из-за стычки с законоучителем отцом Мелетием. Но затем выяснилось, что истинная причина в другом. Преподаватель истории Иван Митрофанович (гимназисты между собой называли его Финти Монти) объяснил своему ученику: «Не за то тебя гонят, что ты виноват, а за то, что ты курносый Гнилокишкин, за то, что ты черная кость. В этом вся твоя, дурень, вина. Шестиглазому велено выкинуть из гимназии всю бедноту, всех кухаркиных детей, Гнилокишкиных, вот он и брешет на тебя как на каторжного, чтобы было ловчей тебя выгнать».

Здесь Чуковский говорит о царском Циркуляре, прозван-

ном в народе «Указом о кухаркиных детях». Документ, подписанный императором Александром III, подготовил и проводил в жизнь министр народного просвещения И. Д. Делянов, получивший свой пост по рекомендации К. П. Победоносцева. Того самого Победоносцева, про которого Александр Блок в поэме «Возмездие» написал:

В те годы дальние, глухие,
В сердцах царили сон и мгла:
Победоносцев над Россией
Простер совиные крыла.

«Указ о кухаркиных детях» вступил в силу в 1887 году. Руководствуясь им, Колю Корнейчукова могли не принять в гимназию, когда он в нее поступал в 1892 году, но никак не исключить из нее несколькими годами позднее.

Другую версию исключения из гимназии находим в автобиографическом рассказе «Бранделяк». Старшеклассники отняли у Коли Корнейчукова тетрадку с его стихами. Среди других в ней было стихотворение о герцоге Бранделюк де-Бранделяк со следующими строчками:

Господин де-Бранделюк —
Замечательный индюк.
Как я рад, что я знаком
С этим важным индюком!

.....

Если б не был я знаком
С этим важным индюком,
Не узнал бы я никак,
Что спесивый и хвастливый
Господин де-Бранделяк —
Задающийся дурак.



2-я гимназия в Одессе, где учился К. И. (ул. Пушкинская, 18). Ее Чуковский описал в повести «Серебряный герб»

Чуковский пишет: «Вся гимназия затвердила эти стихи наизусть, но в каком-то исковерканном виде». Этими исковерканными стихами стали дразнить их автора, получившего прозвище Бранделяк. Но каким-то непонятным образом, го-

ворит Чуковский, «наш обидчивый инспектор Прохор Евгеньевич (так называемый Прошка) принял эти стихи на свой счет. <...> И он мстил мне до того самого дня, пока не выгнал меня из гимназии».

Трудно поверить, чтобы стихотворение про забавного, целиком и полностью вымышленного герцога Бранделюк де-Бранделяк, изначально не имевшего прототипа, а после переделки ставшего карикатурным изображением автора, послужило причиной исключения Коли Корнейчукова из гимназии.

Куда более правдоподобной выглядит история изгнания мальчика из средней школы, рассказанная его одноклассником Львом Коганом:

«Он рано стал литератором. Именно ему пришла в голову мысль издавать гимназический рукописный журнал. В том же шестом классе нашелся еще один прирожденный литератор, впоследствии известный фельетонист “Одесских новостей” под псевдонимом Алталена⁸.

Оба издателя внешне представляли собой разительный контраст: один... высоченный, нескладный, мешковатый, бледный; другой... маленький, смуглый, с румянцем на щеках, подвижной. Зато обоих роднили любовь к литературе, остроумие, острословие и ненависть ко всему укладу гимназической жизни.

⁸ Владимир Евгеньевич Жаботинский, ставший известным идеологом сионизма.

Вот эти два литератора и стали издателями гимназического журнала. Не помню уж, как он назывался; он до нас даже не дошел, так как выпускался в одном экземпляре. Но, конечно, содержание журнала было нам известно: выпады против гимназического начальства (хотя и завуалированные), сценки из гимназического быта – все это передавалось из уст в уста.

Конечно, журнал попал в руки директора. Юнгмейстер расвирепел. Во время большой перемены, когда ученики прогуливались по широкому длинному коридору, директор, потрясая журналом, топая ногами, кричал на издателей, стоящих перед ним, и грозил им всеми возможными карами. Виновники молчали: Корнейчуков – со страдающим видом человека, лучших намерений которого не хотят понять, его приятель исподлобья зло глядел на директора.

– Будете еще издавать журнал? – громко спросил Юнгмейстер после гневной “распекации”.

– Буду – буркнул один.

Корнейчуков только вздохнул.

Прошло две недели, и вот снова появился новый номер журнала. На этот раз он вышел в двух или трех экземплярах. И снова произошла на глазах у всех такая сцена: на большой перемене к директору подошли два издателя и вручили ему один экземпляр со словами:

– Мы не хотим, чтобы вы думали, Андрей Васильевич, что мы делаем что-либо тайно. Поэтому мы и решили, что

лучше всего нам самим передать вам новый номер журнала.

А в этом номере “гвоздем” был резкий, талантливо написанный фельетон “Андрюшка”, метивший прямехонько в директора.

Юнгмейстер молча взял журнал.

Он больше не распекал издателей, а созвал педагогический совет, который и исключил из гимназии обоих издателей».

Колю Корнейчукова директор мог исключить из гимназии еще до начала им издательской деятельности – после следующего случая, рассказанного Л. Р. Коганом:

«Однажды (это было еще до истории с журналом) Корнейчуков таинственно отозвал меня в сторону и вполголоса спросил:

– Ты знаешь, что в актовом зале университета профессор Ланге будет читать публичные лекции по философии?

Я об этом не знал.

– Нам только что об этом в классе сказал Юнгмейстер и заявил, что ученикам гимназии запрещается ходить на эти лекции.

– Всего будет четыре лекции, – сказал Корнейчуков, – Платон, Декарт, Спиноза, Кант. Пойти на все четыре мы не сможем.

Да, наше экономическое положение не позволяло и думать о покупке билетов на весь цикл.

...На философию я мог положить не более полтинника,

Корнейчуков также не более того... После тщательного обсуждения этого вопроса в течение двух недель мы остановили свой выбор на Канте.

Корнейчуков вызвался достать билеты и действительно через несколько дней вручил мне драгоценный билет.

Благополучно проникнув в актовый зал университета, я уселся на свое место и стал оглядываться. Я заметил еще несколько личностей в странных одеяниях. Все это, конечно, переодетые гимназисты. Вскоре пришел и Корнейчуков. О, это было зрелище для богов! Короткие брюки, из-под которых вылезали не только ботинки, но и носки; а рукава пиджака чуть не до локтей.

На эстраду, где был приготовлен столик для лектора, вышел Николай Николаевич Ланге, очень ценимый и любимый студентами как серьезный ученый, талантливый лектор и прогрессивный деятель.

Во время перерыва мы осторожно выбрались в фойе... В фойе ходило много народу, но первое же лицо, которое бросилось нам в глаза, был Юнгмейстер. Заметив его, я тотчас нагнулся и юркнул в толпу, но долговязый и мешковатый Корнейчуков скрыться никак не смог. Ему только и осталось, что с любезной улыбкой раскланяться с Юнгмейстером при встрече... На следующий день директор разбранил Корнейчукова, который по обыкновению выслушал выговор молча, с видом страдающей невинности. Свое присутствие на лекции Ланге он объяснил желанием уяснить себе строку из "Ев-

гения Онегина”, в которой о Ленском сказано, что он “поклонник Канта и поэт”».

В автобиографии Корней Иванович написал: «... Меня отдали в одесскую гимназию, из пятого класса которой я был несправедливо исключен». Нельзя не согласиться с писателем, действительно, Колю Корнейчукова выгнали из гимназии несправедливо. Несправедливость состояла в том, что, если бы он был не сыном крестьянки-прачки да к тому же еще и «девицы», а, например, как его одноклассник Тютин, – сыном подполковницы, то за тот же самый проступок его, скорее всего, не стали бы исключать из гимназии. Но в автобиографию вкралась и неточность (вероятно, подвела память), не из пятого класса выгнали Колю Корнейчукова, а, как установила Наталья Панасенко, – из седьмого. Произошло это в 1898 году.

Домашний учитель

Но надо было продолжать жить и на жизнь зарабатывать. Самый распространенный способ добывания денег у гимназистов-старшекласников – репетиторство. Прибегнул к нему и Коля Корнейчуков. Один из его учеников, Владимир Швейцер, ставший впоследствии журналистом, вспоминал:

«В воскресенье мать набросила на голову черный кружевной платок, оправила на мне курточку и мы пошли “в город”».

Над Новорыбной улицей плыли сладкие желто-белые об-

лака акаций.

На булыжной мостовой гремели железные колеса биндюгов, груженных волосатыми шарами кокосовых орехов.

Мы вошли в каменистый, густо населенный двор, где жил учитель. Полная женщина с добрым лицом – мать учителя – открыла нам дверь бедно обставленной комнаты.

Длинноногий, длиннорукий юноша в гимназической куртке, рукава которой, казалось, были ему коротки, стоя записывал что-то у некрашеного стола, заваленного книгами.

Это и был мой первый домашний учитель Корней Чуковский.

– Читаете что-нибудь? – дружелюбно спросил он, явно снисходя к моим мелким годам и росту.

– Пушкина “Евгений Онегин”.

Учитель засмеялся, подмигнул по-свойски:

– А в лапту играете? В жмурки?

И заговорил о Пушкине, запел его стихами.

Я ушел очарованный этим шутливым, веселым, необыкновенным, так много знающим человеком в гимназической куртке с короткими рукавами».

Молодым людям, которых разделяло семь лет, не сиделось в комнате, под крышею, они рвались на улицу. Уроки, вспоминал Швейцер, «заменились прогулками»:

«Громкая южная жизнь, распахнутая, бежала по улицам, я ничего не слышал, кроме полюбившегося мне бравурно-певучего речитатива.

И что только не занимало ум молодого Чуковского в далекие те дни! Были тут и мысли о литературе и живописи, парадоксы о спиритизме и философии, афоризмы о толстовстве и политической экономии.

И стихи, очень много стихов собственного сочинения и чужие, среди последних – часто Шевченко на украинском языке».

Коле Корнейчукову, созданному своею покинутостью, мучающемуся ею, был очень близок Шевченко, поскольку и он, как впоследствии напишет Чуковский, «знал одно только горе: покинутость». Чуковский писал об украинском поэте: «И главное, главное: покинутость. Покинутость всего: вот в “покинутой Богом” пустыне “стоит дерево високе, покинуте Богом”, а под деревом покинутый Богом Шевченко».

Книги с ранних лет были друзьями будущего писателя. Лев Коган в своих воспоминаниях о Коле Корнейчукове отмечал: «Его считали отъявленным лодырем, а он в то же время был одним из самых начитанных учеников гимназии».

Большее количество книг к тому времени успел прочитать разве что Володя Жаботинский, знавший к тому же несколько иностранных языков. По всей видимости, под влиянием Жаботинского Коля Корнейчуков решил выучить английский. Но в очерке «Как я стал писателем», рассказывая историю освоения языка жителей туманного Альбиона, Корней Иванович Жаботинского не упоминает (да его тогда, в 1969 году, и нельзя было упоминать по цензурным соображениям).

ям): «Каждую свободную минуту я бегу в библиотеку, читаю запоем без всякого разбора и порядка – и Куно Фишера, и Лескова, и Спенсера, и Чехова. Так шло дело до 1898 года, когда со мной случилось большое событие, определившее всю мою дальнейшую жизнь. Я отправился на толкучку купить “Астрономию” Фламариона. Но “Астрономии” не было, и пришлось из вежливости купить за те же деньги Олейндорфа “Самоучитель английского языка”, чтобы не обидеть торговца, который перерыл для меня весь ларек».

В автобиографической повести «Серебряный герб» Чуковский рассказывает о своих занятиях английским языком, говорит о том, какую радость они ему доставляли, но автором самоучителя почему-то называет профессора Мейендорфа: «Самой нежной и радостной была моя встреча с “Английским самоучителем” профессора Мейендорфа. Я готов был расцеловать эту книгу и почувствовал себя безмерно счастливым, когда вновь на ее страницах передо мной замелькали немые певцы да одноглазые тетки, покупающие в пекарнях канареек и буйволов. Я по сей день благодарен этому чудаку Мейендорфу: если бы не его сумасбродный учебник, я никогда не мог бы читать в подлинниках ни Шекспира, ни Вильяма Блэйка, ни Кольриджа, ни Шелли, ни других величайших английских поэтов, которых полюбил на всю жизнь. <...>

Взобравшись с утра на крышу, я раньше всего достаю кусок мела и пишу на ней крупными иностранными буквами:

I look. My book. I look at my book [Я гляжу. Моя книга. Я гляжу на мою книгу (*англ.*)\.

И так далее – строчек тридцать или сорок подряд. А потом долго шагаю над этими тарабарскими строчками, пытаюсь затвердить их наизусть. Так перед началом работы я изучаю английский язык. Специально для этого я купил за четвертак на толкучке “Самоучитель английского языка”, составленный профессором Мейендорфом, – пухлую растрепанную книгу, из которой (как потом оказалось) было вырвано около десятка страниц.

Этот Мейендорф был, очевидно, большим чудачком. Потому что он то и дело обращался к читателям с такими несуразными вопросами.

“Любит ли двухлетний сын садовника внучку своей маленькой дочери?”

“Есть ли у вас одноглазая тетка, которая покупает у пекаря канареек и буйволов?”

И все же я готов был исписать каждую крышу, на которой мне приходилось работать, ответами на эти дикие вопросы профессора, так как в своем предисловии к книге он уверял самым категорическим образом, что всякий, кто с надлежащим вниманием отнесется к его канарейкам и теткам, в совершенстве овладеет английской речью и будет изъясняться на языке Джорджа Байрона, как уроженец Ливерпуля или Дувра».

На самом деле автором самоучителя, которым пользовал-

ся Коля Корнейчуков, был Генрих Готфрид Оллендорф (с двумя эл, а не с одним, как сказано в очерке Чуковского «Как я стал писателем»). Книга называлась «Новый способ выучиться в 73 уроках читать, писать и говорить по-английски. Метода профессора Г. Г. Оллендорфа» (М., 1878). Для русского читателя ее «приспособил» Алексей Давыдович Михельсон. Книга неоднократно переиздавалась. Обучение в своем самоучителе профессор Г. Г. Оллендорф, действительно, строил на постановке вопросов и ответах на них. Эти вопросы и ответы выглядели порой очень странно. Например: «Какую шляпу вы имеете? Я имею шляпу мальчика моей тетки» (С. 10). Или: «Имеет ли иностранец мой гребень, или гребень моей сестры? – Он имеет тот и другой» (С. 32). И так далее.

Попавший к Коле Корнейчукову экземпляр самоучителя был далеко не в идеальном состоянии, что повлияло на результат обучения. Писательница Александра Бруштейн в своих воспоминаниях о Чуковском говорит: «... Корней Иванович начал изучать английский язык. Делал он это без отрыва от малярного производства – весь пол был исписан английскими словами! К сожалению, учился Корней Иванович по книжке, от которой было оторвано начало, а как раз на этих недостававших в учебнике страницах были изложены правила произношения английских слов!»⁹ В результате

⁹ Действительно, в самоучителе профессора Г. Г. Оллендорфа правила английского произношения излагались в самом начале – на страницах с римской паги-

юноша научился писать и читать, но его выговор ничего общего с правильной английской речью не имел, в чем он убедился, оказавшись через несколько лет в Лондоне.

Почти в одно время с самоучителем английского языка в руки пытливого молодого человека попала книга, ставшая спутником всей его жизни. Чуковский вспоминал:

«Однажды, когда я был в порту, меня поманил к себе пальцем матрос и сунул мне в руки толстенную книгу. При этом он пугливо озирался, словно книга была нелегальная (матросы иностранных судов часто привозили контрабандой зарубежные брошюры и книги).

Вечером, после работы, я ушел на волнорез к маяку и увидел, что это книга стихов, написанная неким Уолтом Уитменом, о котором я ничего не слышал. Я развернул, где пришлось, и прочитал безумные стихи:

Мои цепи и балласты спадают с меня,
локтями я упираюсь в морские пучины.

Я обнимаю сьерры, я ладонями покрываю всю сушу.

...Под Ниагарой, что, падая, лежит, как вуаль, у меня на лице.

Блуждая по старым холмам Иудеи бок о бок с прекрасным
и кротким Богом,

Пролетая в мировой пустоте, пролетая в небесах между

нацией, страницы VII–XXII, которые, по всей видимости, в экземпляре, купленном Колей Корнейчуковым, отсутствовали.

звезд.

...Я посещаю сады планет и смотрю, хороши ли плоды,
Я смотрю на квинтильоны созревших и квинтильоны
незрелых...

Подобных стихов я никогда не читал. Так вот он какой, Уолт Уитмен! Я был потрясен новизною восприятия мира и стал новыми глазами глядеть на всё, что окружало меня: на звезды, на женщин, на былинки травы, на животных, на морской горизонт, на весь обиход человеческой жизни.

В моем юношеском сердце – а мне тогда уже было семнадцать лет – нашли самый существенный отклик и его призывы к экстатической дружбе, и его светлые гимны равенству, труду, демократии. Я стал переводить Уолта Уитмена, но, конечно, я не имел никаких, даже отдаленных представлений о том, что такое художественный перевод. И на первых порах переводил черт знает как. Теперь мне даже стыдно вспомнить эти мои ранние переводы».

Л. Р. Коган вспоминал: «Тем, что его увлекало, он умел заниматься со страстью». Со страстью изучал английский язык. Со страстью переводил с английского. Еще одним страстным увлечением юноши была философия. Видимо, все-таки не прошло даром слушание лекции профессора Н. Н. Ланге. Чуковский позднее писал: «...Тайно от всех сам я считаю себя великим философом, ибо, проглотив десятка два разнокалиберных книг – Шопенгауэра, Михайловского, Достоевского, Ницше, Дарвина, – я сочинил из этой меша-

нины какую-то несуразную теорию о самоцели в природе и считаю себя чуть ли не выше всех на свете Кантов и Спиноз». Свою философскую работу Коля Корнейчуков прочитал Володе Жаботинскому. Тот внимательно выслушал товарища, а затем помог передать рукопись в редакцию «Одесских новостей». К удивлению и огромной радости юного автора статью – она называлась «К вечно-юному вопросу: (Об “искусстве для искусства”）」 – опубликовали – в номере от 27 ноября 1901 года.

Так в русской литературе появился новый самобытный писатель – Корней Чуковский. Именно так – Корней Чуковский – подписал свою первую печатную работу сын «девицы» Екатерины Корнейчуковой.

Глава 2

Литературный критик

Альталена

Как уже было сказано, на стезю профессиональной литературной деятельности Коле Корнейчукову помог встать его товарищ по гимназии Владимир (Зеев) Евгеньевич Жаботинский, который тогда уже был постоянным сотрудником «Одесских новостей».

Это событие – публикация в солидной газете – предопределило весь последующий жизненный путь молодого человека. Неудивительно, что благодарную память о друге Корней Иванович сохранил до конца своих дней. Весной 1965 года Чуковский написал преподавательнице из Иерусалима:

«Вы пробудили во мне слишком много воспоминаний, неведомая мне, но милая Рахиль! У меня в гимназии был товарищ Полинковский, у родителей которого снимал комнату некий велемудрый Равницкий, красивый человек средних лет, с золотой бородой, в очках – насколько я помню, золотых.

У Равницкого было множество старинных еврейских книг, и одно время к нему приходил приземистый человек самого обыкновенного вида, про которого говорили, будто

он поэт и зовут его Бялик. Лицо у него было сумрачное, глаза озабоченные. Портфели были тогда мало распространены, и он приносил к Равницкому какие-то рукописи, завернутые в газету. Тогда я не знал, что поэты могут быть озабочены, хмуры, бедны, и, признаться, не совсем верил, что Бялик – поэт. Изредка к Полинковскому вместе со мною заходил наш общий приятель Владимир Евгеньевич Жаботинский, печатавший фельетоны в газете “Одесские Новости” под псевдонимом Altalena (по-итальянски: качели). Он втянул в газетную работу и меня, писал стихи, переводил итальянских поэтов... Он казался мне лучезарным, жизнерадостным, я гордился его дружбой и был уверен, что перед ним широкая литературная дорога. Но вот прогремел в Кишинёве погром. Володя Жаботинский изменился совершенно. Он стал изучать родной язык, порвал со своей прежней средой, вскоре перестал участвовать в общей прессе... и стал переводить Бялика».

В следующем письме к той же корреспондентке (июнь 1965 года) Чуковский продолжил свои воспоминания:

«Что касается друга моей юности – я считаю его перерождение вполне естественным. Пока он не столкнулся с жизнью, он был Altalena – что по-итальянски означает “качели”, он писал забавные романсы:

Жди меня гитана,
Ловкие колена

Об утесы склона
Я изранил в кровь.
Не страшна мне рана,
Не страшна измена,
Я умру без стопа
За твою любовь (и т. д.).



В. Е. Жаботинский

Недаром его фельетоны в “Одесских новостях” назывались “Вскользь” – он скользил по жизни, упиваясь ее дарами, и, казалось, был создан для радостей, всегда праздничный, всегда обаятельный. Как-то пришел он в контору “Одесских новостей” и увидел на видном месте – икону. Оказалось, икону повесили перед подпиской, чтобы внушить подписчи-

кам, что газета отнюдь не еврейская. Он снял свою маленькую круглую черную барашковую шапочку, откуда выбилась густая волна его черных волос, поглядел на икону и мгновенно сказал:

Вот висит у нас в конторе
Бог-спаситель, наш Христос.
Ты прочтешь в печальном взоре:
“Черт меня сюда занес!”

И вдруг преобразился: порвал с теми, с кем дружил, и сдружился с теми, кого чущдался. Остались у него два верных друга: журналист Поляков и студент-хирург Гинзбург¹⁰, которого я впоследствии встречал в Москве.

Последний раз я видел Владимира в Лондоне в 1916 году. Он был в военной форме – весь поглощенный своими идеями – совершенно непохожий на того, каким я его знал в молодости. Сосредоточенный, хмурый – но обнял меня и весь вечер провел со мной».

Документальным свидетельством лондонской встречи является единственная запись Жаботинского в «Чукоккале», сделанная 26 февраля 1916 года:

«В память старой дружбы сунуть-ка и я – с суконным рылом в калашный ряд.

¹⁰ К. И. Чуковский несколько искажил фамилию Матвея Марковича (Мееровича) Гинсберга, он, будучи врачом клиники 2-го Московского государственного университета, оперировал Корнея Ивановича по поводу грыжи.

В. Жаботинский».

Кишиневский погром, который изменил жизнь, мироощущение Владимира Жаботинского, произошел в 1903 году. Погром начался в первый день православной Пасхи - 6 апреля – и продолжался двое суток. Только на третий день на улицах города появились войска и полиция – погромщики тотчас разбежались. За два дня огромной бесчинствующей толпой (в Кишинев для разбоя съехались жители окрестных сел и местечек) было разгромлено и разграблено более полутора тысяч еврейских домов, квартир, магазинов и лавок. Погибло 49 человек (в том числе несколько младенцев), ранения и увечья получили 386 евреев. Главный врач Кишиневской еврейской больницы М. Б. Слуцкий на допросе, произведенным судебным следователем 19 апреля 1903 года, показал: «Почти все без исключения повреждения причинены тяжелыми и тупыми орудиями – дубинами, камнями, молотами и т. и. Огнестрельных ран вовсе не было. На некоторых трупах повреждения нанесены, по-видимому, острым орудием (топорами). Почти без исключения повреждена голова, к повреждениям головы присоединяются переломы костей, ребер, челюстей, тяжкие раны туловища; у одного слепого на один глаз выбит здоровый глаз».

Через несколько дней после трагедии в Кишинев приехал Бялик. Результатом поездки стало «Сказание о погроме». Его перевел на русский язык Жаботинский. Поэма начинается горькими, суровыми и в то же время торжественными

Словами:

...Встань, и пройди по городу погрома,
чтобы рука дотронулась, и очи
увидели повсюду – на стенах,
на камнях, и деревьях, и заборах —
засохший мозг и черствые комки
застывшей черной крови убиенных.

Прогрессивная общественность главным виновником кишиневской трагедии справедливо считала министра внутренних дел В. К. Плеве. Недовольство, возникавшее в низших слоях населения, власть специально направляла на иудеев, иноверцев, считая, что таким образом она спасает себя от народного гнева. Неудивительно, что еврейские погромы то и дело вспыхивали в различных местах Российской империи. Случались они и в Одессе. О бесчинствах 1871 года Корнейчуков и Жаботинский могли знать только по чьим-то рассказам. Сами же они стали свидетелями погрома, произошедшего в 1903 году. Его описал в своих воспоминаниях редактор «Одесского листка» Абрам Евгеньевич Кауфман:

«18 октября в Одессе получен был манифест о конституции. Христиане и евреи предавались ликованиям и поздравляли друг друга... Я лично наблюдал, как толпа, среди которой преобладали евреи, качала барона Каульбарса¹¹, поздравляя “погромщика в душе” с великим гражданским

¹¹ Командующий войсками Одесского военного округа.

праздником. Барон Каульбарс благодарил за ование, а в это время на окраине уже начались заранее подготовленные расправы с евреями. “Немножко рано началось!” – заявил тогда барон Каульбарс представителям администрации.

Избиения на улице скоро перешли в разгром домов и лавок, и полилась кровь. С искаженными от ужаса лицами евреи металась, ища спасения и попадая из огня в полымя. Временами гремели выстрелы: то расстреливали самооборону. На моих глазах, переодетый в штатское городской подстрелил и растоптал ногами юношу, сопровождавшего на вокзал старую чету. Я видел целые подводы с изувеченными и убитыми и возы с осиротевшими детьми. Нигде октябрьский погром не отличался такой свирепостью, как в Одессе».

Но вернемся в 1901 год. 20 декабря Жаботинский (Altalena) под своей постоянной рубрикой «Вскользь» напечатал статью «О литературной критике». В ней говорилось:

«...Критика представляется мне, по нашему времени, бесполезным пережитком.

И, кроме того, я считаю ее даже вредной, так как теперешнее обилие критических статей только сбивает публику с толку, не давая ей понять, как именно должна она относиться к беллетристическим произведениям, и чего именно, по естественному смыслу нашего времени, должна в них искать.

Объяснюсь.

То время [XIX век. – Е. Н.] было временем выработки новых общественных взглядов.

Эстетические достоинства романа служили тогда только для того, чтобы книгу можно было легко прочесть. Но оценку и разбор вызывали в то время не эстетические достоинства книги, и даже не сама книга, – а те идеи, на которые наводили читателя рассказанные в книге явления».

Жаботинский называет эти идеи:

- 1) благоденствие народных масс должно быть главной заботой государства;
- 2) женщины должны обладать теми же правами, что и мужчины;
- 3) воспитание должно вырабатывать в ребенке твердый характер, а не приучать его плясать под чужую дудку.

В критических статьях прежнего времени делался разбор названных идей. «Вот почему, – утверждал Жаботинский, – критическая статья была в то время такой желанной ижданной подругой интеллигентного человека: ему нужна была идея, он болел идеями – и статья говорила ему об идеях.

Интеллигенция с тех пор умственно очень развилась. Я не говорю, что она теперь умнее тогдашней интеллигенции. Но она теперь давно, с детства, знает все, что мыслящим людям прежнего времени еще только нужно было открыть и изобрести.

А жизнь?

Жизнь не двинулась вперед ни на шаг.

Вот почему наша эпоха не требует новых общественных идей: нужные ей идеи преподаны нам уже много лет тому

назад.

А если жизнь не будит в нас мышления, то не может будить его и беллетристика, изображающая эту самую старую жизнь... Я утверждаю, что никто из интеллигенции теперь абсолютно не в состоянии предаться мышлению по поводу прочтенного романа или прослушанной драмы».

Выступления в печати Жаботинскому показалось мало. Он считал, что рамки газетного фельетона не дали ему возможности высказаться о литературной критике во всей полноте, со всеми необходимыми пояснениями и доказательствами. На основе статьи Владимир Евгеньевич подготовил реферат, с которым выступил 17 января 1902 года в Литературно-артистическом обществе.

Чуковский, как бы предчувствуя, что скоро он станет профессиональным литературным критиком, одним из самых известных в России, подготовил письменный ответ своему другу. Ответ был зачитан в Литературно-артистическом обществе. *«По мнению г. Чуковского, – сообщали в своем отчете “Одесские новости”, – докладчик самым непростительным образом смешал публицистику с критикой. Идеи, о которых г. Altalena упомянул в своем докладе, как, например, равноправие женщин, индивидуализация воспитания и пр. – все это нисколько не относится к литературной критике.*

<...> Взвзявшись доказывать ненужность в настоящее время литературной критики, г. Altalena доказывает ненадоб-

ность публицистики, которая именно теперь и находится в апогее своего развития. Хотя, как утверждает докладчик, прикосновение анализа к настроению уничтожает это настроение, но на этом месте образуется вовсе не пустота; там остается обыкновенная идея, такая, к каким приучила нас литература, ибо настроение вовсе не противоположно идее – но только одна из форм, в которые последняя иногда облекается; выяснить эту идею, выразить ее в другой, более отчетливой форме – вот трудная, но благородная задача критики, имеющей дело с литературой настроения. А если это так, то в необходимости для нас литературной критики сомневаться невозможно».

Чуковский спорит с другом, но понимает, что по сравнению с Жабо-тинским он – невежда, и стремится при помощи чтения ликвидировать пробелы в знании. Корней Иванович берет книги у знакомых, посещает библиотеки, заходит к букинистам, роется в книжных развалах.

Торговля книгами в Одессе первоначально сосредотачивалась на толкучем рынке, обосновавшемся на Яловицкой площади. Там бок о бок стояли будки трех наиболее известных одесских букинистов – Елисея Распопова, Дмитрия Газиса и Родиона Гордукалова. Гордукалову пойти дальше толкучего рынка не удалось. Зато Газису Фортуна ласково улыбнулась. Он сумел открыть магазин на Троицкой улице.

При магазине работала библиотека. Эти магазин и библиотека, по свидетельству Луки Алексеевича Чижикова, автора мемуарного очерка «Одесские букинисты» (Одесса, 1915), «занимали обширные и многочисленные помещения, которые были снизу доверху буквально набиты книжным добром в несчетном количестве». Еще большего успеха добился Распопов. Он стал, как утверждает Чижиков, «первейшим на юге России книгопродавцем». Был в Одессе еще один торговец книгами, к которому, наверняка, заглядывал Коля Корнейчуков, – «иудей Альберт», который любил книгу, как Ромео любил Джульетту, как Паоло – Францеску, обожал, как Дон Кихот Дульцинею Тобосскую.

Рождение критика

Со своей будущей женой дочерью Аарон-Берга Рувимовича Гольдфельда, бухгалтера частной конторы, Корнейчуков познакомился в 1898 году. Маша проживала на той же Ново-Рыбной улице, что и Николай, – через два дома. Они проводили вместе по три, а то и по десять часов в сутки.

В сентябре 1936 года Чуковский после долгого перерыва вновь оказался в Одессе, посетив свой и Машин дворы, записал в дневник: «Мы здесь бушевали когда-то любовью».

Влюбленные хотели поскорее зажечь собственной, отдельной, ни от кого не зависимой жизнью. В 1901 году они надумали вместе уехать из Одессы, но не удалось добыть де-

нег на побег. Через два года «Одесским Новостям» понадобился собственный корреспондент в столице Великобритании. Жаботинский предложил послать Чуковского. Руководство газеты с ним согласилось. Узнав об этом, Маша, не задумываясь, решила воспользоваться предоставляемым судьбою случаем. Она, не мешкая, принимает православие. Наталья Панасенко нашла следующую запись в церковной книге, сделанную 24 мая 1903 года: «Просвещена св. крещением одесская мещанка Мария Аароновна-Бергова Гольдфельд, иудейского закона, родившаяся 6 июня 1880 г. Во св. крещении наречена именем Мария, в честь св. равно-апостольных Марии Магдалины». А через день состоялось венчание. В той же церковной книге записано: «Жених: ни к какому обществу не приписанный Николай Васильев Корнейчуков, православного вероисповедания, первым браком, 21 года. Невеста: одесская мещанка Мария Борисовна Гольдфельд, православного вероисповедания, первым браком, 23 лет. Поручители. По женихе: бывший студент Александр Сергеев Вознесенский и никопольский мещанин Владимир Евгеньев Жаботинский; по невесте: одесский мещанин Юлий Абрамов Ямпольский и врач Спиридон Герасимов Макри». «На свадьбу, – вспоминал позднее Корней Иванович, – пришли все одесские журналисты, принесли массу цветов. Когда мы вышли из церкви, я сказал: “Что мне цветы? Мне деньги нужны”. Снял шапку и пошел собирать. Все смеялись и бросали в шапку деньги. Получилась порядочная сумма».

Через несколько дней молодожены уехали в Лондон. Однако денег влюбленным на проживание в столице Великобритании катастрофически не хватало. Собранная на свадьбе «порядочная сумма» улетучилась в считанные дни. Гонорары из «Одесских новостей» поступали нерегулярно (в этом в значительной мере был повинен сам Чуковский). Мария Борисовна вынуждена была вернуться в Одессу. А ее беспечный супруг вместо усердной работы над статьями для «Одесских Новостей» совершенствуется в английском языке и, стремясь восполнить пробелы своего образования, пропадает в библиотеке Британского музея. Он сообщает жене 28 марта 1904 года: «Как ты? Это моя единственная мысль, – и мне даже стыдно пред другими и пред собой, что нет у меня других мыслей... Но так как разлука неизбежна (я выдумываю тысячи планов как бы уехать, но это невозможно. Лазурскому я должен здесь, а Рикке там. Чем мы жить будем – тоже неизвестно), то я решил взять от этой разлуки все, что она может мне дать. Я решил ни одной минуты из этих постылых 6-и месяцев не терять даром. Я с остервенением сажусь за свои книги. Я бесконечно учу слова (их уж очень немного), я читаю в постели, за обедом, на улице. В музей я прихожу в 9-10, а ухожу после звонка... Я читаю “Дон Жуана” – и прихожу в восторг. Это что-то сверхъестественное».

Чуковский настолько увлекся сокровищами, скрытыми в фондах библиотеки Британского музея, что Жаботинский был вынужден напомнить другу о его обязательствах перед

газетой. 10 декабря 1903 года Владимир Евгеньевич писал в Лондон: «Вашими корреспонденциями я недоволен. Знаете, что я думаю? Вы просто для них мало работаете, а больше для Чехова и для самообразования. Вещи прекрасные, но все-таки уменьшите рвение в эту сторону и приналягте на газетную часть Вашего существования... Для этого, конечно, необходимо больше времени посвящать наблюдениям, а бай-бляйтеке – или как ее – меньше... Не сидите в библиотеке, тогда все пойдет хорошо».

В сентябре 1904 года Корнею Ивановичу удалось найти деньги на дорогу домой. Он возвращается в Одессу, где его встретила жена с их первенцем – Николаем, родившимся 20 мая 1904 года.

С 28 января 1904 года Российская империя находится в состоянии войны с Японией. Царские войска терпят одно поражение за другим, в народе усиливается недовольство властью, а газеты соревнуются друг с другом в проявлении патриотических чувств. Чуковский не хочет принимать в этом участия. Он пишет жене 21 мая 1904 года: «...Я о войне ни слова. Пусть не печатают, а я о войне не заикнусь».

И тут всю Россию облетает трагическая весть о произошедшем в Петербурге 9 января 1905 года. Этот день русский народ назвал Кровавым воскресеньем. Оно ознаменовало начало Первой русской революции. После 9 января многие из тех, кто до этого дня были монархистами, перешли в стан борцов с самодержавием. Яркий пример – чета Мережков-

ских. Зинаида Николаевна Мережковская, печатавшая стихи и прозу под своей девичьей фамилией Гиппиус, а острые критические статьи под псевдонимом Антон Крайний, записала в дневник в феврале 1908 года: «...9 января случилось. Перевернуло нас... Я была бессильна против идеи самодержавия, как все-таки более религиозной, чем другая общественная. Я не могла найти против нее метафизических аргументов. Но стала чувствовать, что должна найти, ибо она – неправда. Дима [Философов] отрицал ее – не обосновывая. Пользуясь его чувством – я пошла дальше. И вместе мы поняли, что сама идея личности и теократии в нашем понимании – ее отрицают. Дмитрий [Мережковский] еще не понимал. Помню споры в сумерках, в березовой аллее. Потом вечером раз – и вдруг понял окончательно и бесповоротно... Я записала на шоколадной коробке: “Да, самодержавие – от Антихриста!”» Супруги Мережковские вместе с Д. В. Философовым едут за границу и там выпускают сборник публицистических антимонархических статей – «Царь и революция» (Париж, 1907). Священник Георгий Гапон, до 9 января приверженец самодержавия, повел в этот день свою паству к царю Николаю Романову просить самодержца о милостях. Но в ответ верноподданные получили пули. Сотни людей были убиты, тысячи ранены. Гапон, чудом оставшийся живым, в одночасье превратился из монархиста в революционера. Он пишет «Письмо Николаю Романову, бывшему царю и настоящему душегубцу Российской Империи», в кото-

ром говорится:

«С наивной верой в тебя, как в отца народа, я мирно шел к тебе с детьми твоего же народа.

Ты должен был знать, ты знал это.

Невинная кровь рабочих, их жен и детей-малолеток навсегда легла между тобой, о душегубец, и русским народом. Нравственной связи у тебя с ним никогда уже быть не может.

Из-за тебя, из-за твоего всего дома – Россия может погибнуть. Раз навсегда пойми все это и запомни. Отрекись же лучше поскорей со всем своим домом от русского престола и отдай себя на суд русскому народу.

Иначе, вся имеющая пролиться кровь на тебя падет, палач, и твоих присных».

Горький, участник трагедии, он шел вместе с рабочими, рядом с Гапоном, вспоминал:

«Назад! – донесся крик офицера.

Несколько человек оглянулось – позади их стояла плотная масса тел, из улицы в нее лилась бесконечным потоком темная река людей; толпа, уступая ее напору, раздавалась, заполняя площадь перед мостом. Несколько человек вышло вперед и, взмахивая белыми платками, пошли навстречу офицеру. Шли и кричали:

– Мы – к государю нашему.

– Вполне спокойно!.

– Назад! Я прикажу стрелять!.

– Стрелять? Не смеешь!.

И вдруг в воздухе что-то неровно и сухо просыпалось, дрогнуло, ударило в толпу десятками невидимых бичей. На секунду все голоса вдруг как бы замерли. Масса продолжала тихо продвигаться вперед.

– Холостыми... – не то сказал, не то спросил бесцветный голос.

Но тут и там раздавались стоны, у ног толпы легло несколько тел.

И снова треск ружейного залпа, еще более громкий, более неровный. Стоявшие у забора слышали, как дрогнули доски, – точно чьи-то невидимые зубы злобно кусали их. А одна пуля хлестнула вдоль по дереву забора и, стряхнув с него мелкие щепки, бросила их в лица людей. Люди падали по двое, по трое, приседали на землю, хватаясь за животы, бежали куда-то прихрамывая, ползли по снегу, и всюду на снегу обильно вспыхнули яркие красные пятна...»

И Чуковского потрясло случившееся. Он неоднократно рассказывал своим детям о 9 января, о других событиях Первой русской революции. Лидия Корнеевна вспоминала: «Корней Иванович побывал на “Потемкине”, когда мятежный корабль стоял в Одессе; потом, в Петербурге, сделался редактором сатирического журнала “Сигнал”, высмеивавшего царский режим, министров и самого “августейшего”. (“Николай Второй – бездарнейший из русских царей”, – говорил он.) Он рассказывал нам о лейтенанте Шмидте, о Севастополе, о Пресне, а чаще всего – о 9 января в Петербур-

ге. Чертил план улиц, мостов, проспектов; рабочие с портретами царя и хоругвями идут по этим мостам и проспектам к Зимнему дворцу, а во дворах, в переулках заранее предусмотрительно спрятаны солдаты и казаки. Люди идут, чтобы рассказать царю-батюшке, как злодеи “топчут их сапожищами”, их, живущих в подвалах, в нищете и неволе, работающих за гроши по 12 часов в сутки, а им навстречу казаки, нагайки, пули».

Происходящие в стране события подтолкнули Чуковского к созданию иллюстрированного журнала политической сатиры. Он вспоминал: «После того, как я побывал на “Потемкине” и впоследствии – там, в Одессе – наблюдал изо дня в день кровавый разгром революции, я был охвачен непреодолимым стремлением примкнуть к общей борьбе. Так как в политике разбирался я плохо, о партиях не имел никакого понятия и был весь с головой в литературе, мне еще в июле, тотчас после потемкинских дней, примерещился некий журнал, вроде “Искры” Василия Курочкина, – журнал, который стихами и прозой стал бы громить ненавистных врагов». Чтобы воздействие журнала было максимально эффективным, он должен выходить в столице. Корней Иванович едет в Петербург. Первое время пришлось даже голодать, пока не посчастливилось получить место корректора в издательстве П. П. Сойкина. «Жена не выдержала отчаянной жизни, заболела и уехала с ребенком к родным, – писал позднее Чуковский. – Я же задержался в Петербурге, так как мне до

смерти не хотелось расстаться с неотвязной мечтой о журнале». Самый близкий для начинающего критика в столице человек – писатель Осип Дымов (Иосиф Исидорович Перельман). Ему Чуковский рассказывает о своей мечте. Дымов помогает придумать название для нового издания – «Сигнал», составить круг авторов, находит типографию, которая могла бы печатать журнал. Но ее владелец, Н. Л. Ныркин, требует предоплаты. Дымов же помогает найти и деньги. Чуковский вспоминал:

«Я был уже близок к отчаянию. Но вот как-то в сумерках Дымов заходит за мной и ведет меня на вечеринку к Женни Штембер, известной петербургской пианистке, и там знакомит меня с Леонидом Витальевичем Собиновым, которому он уже успел рассказать о “Сигнале”».



К. И. Чуковский.

Шарж Ю. П. Анненкова

Собинов пел на вечеринке революционные песни, после чего отошел с нами в сторону и вручил нам, к нашей неистовой радости, целых пятьсот рублей, которые мы на другой же день отвезли в виде аванса в типографию Ныркина».

Но полученных от Собинова денег оказалось недостаточно. Помог Куприн. «Он, – вспоминал Корней Иванович, – подыскал нам издателя, некоего Бориса М., поставлявшего

Кронштадту английский уголь для нашего флота. По случаю забастовки моряков и рабочих его фирма уже третий месяц бездействовала, и он, по совету друзей, суливших ему изрядный барыш, вздумал заняться изданием журнала: дал Нырки-ну не то чек, не то вексель – и печатание “Сигнала” началось».

Первый номер (на журнале обозначено: «Выпуск») «Сигнала» увидел свет 13 ноября 1905 года. На его последней странице было напечатано: «Редактор-Издатель **К. Чуковский**». Днем ранее Корней Иванович, стремясь расширить круг авторов, пишет в Одессу литературному критику Давиду Тальникову: *«Присылайте нам что-нибудь из Вашего жанра. Только построже выбирайте, мы решили быть к себе чрезвычайно требовательными. Гонорары у нас чудесные, денег тьма. Если Вы согласны у нас работать, ради Бога вставьте свое имя в то объявление, которое я прислал в контору “Новостей” для напечатания»*. Через несколько дней просит актера Александринского театра Ходотова: *«Милый Николай Николаевич. Сегодня у нас редакционное совещание. Будет Тэффи, Чумина, О. Дымов – и так дальше. Милый, приходите. Главный наш сотрудник Ужсин, хороший Ужсин»*. Тогда же сообщает жене: *«Был сегодня у Куприна – он дает для “Сигнала” рассказ – (о чем мы завтра объявим во многих газетах)... Куприн мне очень понравился. Так как он пьянствует, то жена поселила его не в своей квартире, а в другой, – специально для этой цели предназна-*

ченной. В особнячке, куда можно пройти через кухню Марьи Карловны [Куприной]. Там – обрюзгший, жирный, хрипящий – живет этот великий человек, получая из хозяйской кухни – чай, обед, ужин... Убранство: диван, кровать, книги, книги, книги, – и белый сосновый стол. “Это мой альбом”, говорит Куприн: весь стол исписан Л. Андреевым, Скитальцем, Горьким, Фидлером, Троянским и т. д. Куприн попросил и меня расписаться. Я написал ему: “Он был с-д, она с-р”, которое ему очень нравится».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.